



## В. В. ВЕЙДЛЕ

### Тютчев и Россия

Казалось бы, всем известно, что думал Тютчев о России и какой любовью он ее любил. Славянофильские мечты и урапатриотические чувства, коими вдохновлены многие из лучших его стихов, как будто не оставляют на этот счет никаких сомнений. В том же свете воспринимают обычно и его французские статьи, а эпиграммы и *bons mots*\*, противоречащие им, легко истолковываются как обычное фрондерство. На самом деле, однако, нет у нас писателя, чье отношение к России было бы противоречивей и сложнее. Это раскрывается в его письмах, читаемых мало, хотя только в них дается ключ ко многим сторонам его личности и творчества\*\*. С их помощью можно попытаться проникнуть в одну из тютчевских тайн, идя от поверхности к глубине, от наружного слоя к тому, что скрыто под ним, а оттуда, быть может, и к третьему, еще более глубокому.

#### I

Один из самых удивительных парадоксов тютчевской жизни (и всей истории поэзии) заключается в том, что ум его, во всю эту жизнь, был по-настоящему занят одним: политикой. Источник поэтического творчества в душе его не оскудевал до послед-

---

\* острые словечки (*фр.*). — *Ред.*

\*\* Прежде всего я, конечно, имею в виду письма к его второй жене, рожд. баронессе Пфевфель (по первому мужу Дёрнберг). Они были изданы во время войны 1914—1918 гг. в четырех выпусках мало-распространенного журнала «Старина и Новизна», к сожалению, с пропусками и вообще довольно небрежно. Небезупречен и сделанный для этого издания перевод их французского текста. Цитаты из них я привожу в заново сделанном переводе.

них дней, но внимание его ума, если когда-либо направлялось на литературу, хотя бы и стихотворную, то лишь в молодости, и то не настолько, чтобы сделать его литератором или хоть внушить ему заботу о судьбе собственных стихов. Ни к каким писательским группировкам Тютчев не принадлежал, ни одной строчки на русском языке, кроме стихов, не напечатал. Отзывы о литературных произведениях в его переписке редки и случайны, и ни одного общего суждения по литературным вопросам, он, кажется, никогда не высказал. Европейскую поэзию, как это видно по упоминаниям, намекам, переводам, знал он хорошо, но то была духовная пища, издавна усвоенная его гением, а не предмет его размышлений, и даже не то, чем заполнял он свой досуг. В 1847 году, во Франкфурте, Жуковский читал ему свой перевод «Одиссеи», и он писал жене, что при этом случае ему была возвращена «давно дремавшая способность искренно и полностью отдаваться чисто литературному наслаждению». Двенадцать лет спустя он жалуется ей же на Москву, «город архилитературный, где вся эта пишущая и читающая братия слишком уж принимает себя всерьез», так что очередное заседание Общества любителей русской словесности кажется важней, чем «грозные события, готовящиеся на Западе».

Для Тютчева события, почти всегда грозные на его взгляд и угрожающие Западу, едва ли не больше, чем России, были тем, что всю жизнь заставляло работать его ум с наибольшим напряжением и страстностью. Деревенской жизни бежал он именно потому, что не мог обойтись без новостей, газетных депеш, без политических толков, слухов и предсказаний. В переписке с женой политика господствует над всем, даже над светской жизнью, ревматизмом и дурной погодой. Восемнадцатилетний студент уже увлечен «восточным вопросом», и Погодин записывает в свой дневник его суждения о греческом восстании и судьбе Турции: «Целый народ выгнать трудно<sup>1</sup>. Проезд целого народа через Мраморный пролив будет занимателен». А старик, разбитый параличом, незадолго до смерти, еще «жаждет, — по словам Аксакова, — говорить о политике и общих вопросах», опять-таки политических, диктует на эти темы глубокомысленные письма своим заграничным корреспондентам и даже свою болезнь называет, как не всякому придет в голову — «мой Седан». Годы, проведенные на дипломатической службе, уже потому даром не могли пройти, что, по-видимому, отвечали исконному его призванию. Политика, увлекающая Тютчева, — внешняя политика; вопросы, интересующие его, — международные вопросы. Он и Россию, поскольку созерцает ее разумом, видит,

прежде всего, как государство, а в государстве этом самое важное для него не внутреннее устройство, а внешнее могущество и влияние. Патриотизм его, из чувства превращаясь в мысль, Россию мыслит не иначе, как мощным рычагом европейской и мировой политики. Этим и определяется его отличие, в исходной точке более, чем в выводах, от ближайших единомышленников его, славянофилов.

«Милый, умный, как день умный, Федор Иванович» (так поминал его Фет) со славянофилами дружил, выдал за одного из них старшую дочь, но недаром, должно быть, голова Аксакова под венцом показалась ему похожей на «деревянную раскрашенную куклу, изображающую Карла Великого»<sup>2</sup>: зятя он ценил и тот почитал тестя, но в биографии, памятнике их духовной связи, «бесценнейший Иван Сергеевич», все же довольно заметно упростил и личность ее героя, и его мысль. Уже за семь лет до этой свадьбы, в 1858 году, Тютчев, в письме к жене, сетовал на многословие и вечные повторения своих соратников, собравшихся у Хомякова, а в 1870 году ей же писал о некоем «славянском обеде», на который не пошел, «дабы не подвергаться скуке слушать бесполезное и даже смешное пережевывание общих мест, тем более мне опротивевших, что я и сам отчасти в них повинен». Он прибавляет, что люди и вообще нередко делают для него неприемлемыми его собственные мнения, и что он особенно ценит тех, кто, как Самарин, такого впечатления на него не производит. Конечно, в суждениях этого рода многое проистекает из простого раздражения, которому подвержен всякий мыслящий человек, убедившийся в том, что и так называемые единомышленники его не застрахованы от недомыслия. Однако в расхождении Тютчева со славянофилами, более существенном, быть может, чем казалось обеим сторонам, было и нечто другое, нечто, в силу чего славянофилы должны были являться Тютчеву в образе несколько провинциальном, а сам он представляться им слишком уж петербургско-царско-сельским человеком, и даже попросту человеком западным.

В 1830 году Иван Киреевский писал о нем из Мюнхена домой: «Он мог бы быть полезен даже только присутствием своим, потому что у нас таких людей европейских можно счесть по пальцам». Сходные отзывы повторялись не раз, и, конечно, Тютчев был европейцем не только в том смысле, в каком это можно сказать (и потому неинтересно говорить) о любом русском образованном человеке нового времени. Во всем, что касается мысли, он был европейцем, не только сквозь Россию, но и непосредственно, и как бы от России независимо. Он не толь-

ко усвоил европейскую культуру, но и европейскую землю чувствовал своей землей. Мыслил он европейски, т. е. исходя из целого Европы, просто потому, что иначе мыслить не умел, и Россия была для него хоть и восточной Европой, а Европой. Настоящий Восток был ему чужд, и ничего азиатского он в русском не искал. Еще за два месяца до смерти он писал в Париж княгине Трубецкой: «Мы тут заняты чествованием шаха персидского. Что до меня, то все эти полуварварские восточные люди не внушают мне ничего, кроме ужаса и отвращения». Другой культуры, кроме европейской, он не знает. «Большое неудобство нашего положения, — пишет он Вяземскому, — заключается в необходимости для нас называть именем Европы то, что следовало бы называть не иначе, как его настоящим именем: цивилизация». Это значит, что Тютчев не одобряет русского нарочитого европеизма, т. е. рабского подражания Западу, но это значит также, что двух цивилизаций, двух культур, русской и западной, для него нет, а есть лишь одна, европейская, одинаково принадлежащая Западу и России. Судьба этой общеевропейской цивилизации и есть то, что волнует его всю жизнь; заботами о ней вызваны самые глубокие и пророческие его мысли, вроде той, что была им высказана жене во время франко-прусской войны, о нелепости, моральной невозможности войны «en pleine civilisation» \*. «Это — как бы публичный опыт людоедства. Самая правильность, вводимая цивилизацией во все эти избиения и грабежи, делает их еще более омерзительными».

Достоин внимания, что все три тютчевских статьи по внешнеполитическим вопросам написаны не столько с точки зрения русских интересов, сколько с точки зрения интересов европейских; и то же, вероятно, можно было бы сказать о его книге «Россия и Запад», если бы он удосужился ее написать. Письмо, адресованное в 1844 году редактору «Gazette Universelle d'Augsbourg», всецело посвящено немецким делам и рекомендует германским государствам такую политику, которая, прежде всего, должна пойти на пользу им самим<sup>3</sup>. Докладная записка о «России и Революции» тоже имеет в виду прежде всего Германию, которую Россия призвана защитить от наступающих на нее из Франции революционных идей, а может быть и войск. Наконец, статья «Римский вопрос», напечатанная в «Revue des Deux Mondes», вдохновлена тревогой за судьбу католичества и убеждением, что его спасет лишь воссоединение церквей и происте-

\* среди цивилизации (фр.). — Ред.

кающий из него союз с несокрушимым православным царством. Правда, все эти статьи, наброски к ненаписанной книге, как и политические взгляды Тютчева вообще, покоятся на вере в провиденциальное призвание России и в великое будущее Российской империи; однако характерно для него, что и будущее, и призвание это все как-то созерцает он из милого Мюнхена или с не менее любезных его сердцу берегов Женевского озера, хотя бы в ту минуту и беседовал он с Хомяковым и Аксаковым в Москве или глядел на Невский проспект из окон своей квартиры в доме армянской церкви<sup>4</sup>. Можно почти сказать, что Россия нужна ему только для Европы, и во всяком случае взгляды его не питаются, как у славянофилов, никаким предпочтением, которое он отдавал бы русской культуре перед европейской. Он не собирается Европу, хотя бы и гибнущую, приносить в жертву России; он только полагает, что Европа погибнет, если Россия не спасет ее от гибели.

Нет сомнения: Тютчев был горячим русским патриотом, негодовал на политику Нессельроде, ведшего Россию на поводу австрийских интересов, скорбел об исходе крымской кампании, не всегда бывал доволен Горчаковым, желал усмирения поляков, и вообще требовал твердости, воспевал мощь, молился об одолении супостатов. Однако, поскольку речь идет об идейных, а не стихийных источниках его патриотизма, можно сказать, что источники эти были универсальными, а не национальными. Заветнейшая мечта его, «Великая Греко-Российская Восточная Империя», была мечтой о новой Европе, о вселенском утверждении обновленной христианской культуры, а не о воскрешении московского царства и не о торжестве специфически русских начал. Уже в стихах «На взятие Варшавы» он оправдывал покорение Польши не необходимостью, не выгодой, не славой, а этим универсальным замыслом, этой «всемирною судьбой России», как он скажет двадцать лет спустя. В порядке возможного нового «нашествия двенадцати язык» он готов противопоставлять Россию Западу, но не придавая этому смысл окончательной и непреложной розни, и не гибели Запада желая, а его спасения. Россию же видит он при этом не в ее реальности, не в настоящем, а в чаемом и возможном будущем. Если вера в это будущее пошатнется, самый образ России заколеблется в его душе. Недаром в едва ли не лучшем из своих политических стихотворений, по случайному поводу, но, быть может, не только в связи с ним, он спрашивает себя:

Ты долго ль будешь за туманом  
Скрываться, Русская звезда,

Или оптическим обманом  
 Ты обличишься навсегда?  
 Ужель навстречу жадным взорам,  
 К тебе стремящимся в ночи,  
 Пустым и ложным метеором  
 Твои рассыплются лучи?

Одержимость политикой, не Тютчева, но тютчевского ума, нередко приводила к суждениям опрометчивым и поспешным по поводу событий не столь уж значительных и оцениваемых односторонне, с точки зрения одних лишь междугосударственных отношений. В предвидении ближайшего будущего он часто ошибался, считал, например, в 1870 году, что Франция неминуемо раздавит Германию, хотя будущее более отдаленное угадывать умел, и в бисмарковском «культуркампфе» (как он о том писал в предсмертном письме барону Пфевфелю) узнал все то, что полвека спустя составило идею тоталитарного государства. Россию он видел в грандиозной — и совершенно верной — всемирно-исторической перспективе, однако несколько отвлеченной и внешней, в силу самой этой грандиозности. Посещение Москвы и Кремля, после двадцатилетнего пребывания за границей, дало ему образ византийско-русского мира, более древнего в его истоках, чем самый Рим, и к этому чувству прошлого неизбежно присоединилось, говорит он, «предчувствие неизмеримого будущего». Рядом с таким взглядом обычные славянофильские — мельче, но теплей. Завороженность будущим, вырастающим из самой глубины прошлого, приводит к ослаблению чувства конкретной русской истории, которая Тютчева, по-видимому, не очень интересовала, и даже конкретной русской действительности, в которой он слишком склонен был видеть лишь самое близкое — политические интриги — или самое общее: российскую державу в ее отношениях с другими политическими силами. Оттого-то политические стихи его и слабей других, что их питают сравнительно поверхностные чувства и мысли, тогда как все то сложное, что скрыто под этой наружной пеленой, не получает в них почти никакого выражения. Если же пелену приподнять, сразу открывается совсем иной образ России, который в Тютчеве жил, хоть он вовсе и не был ему рад, и в котором нет ничего общего с тем, что лег в основу его политической мысли и политической поэзии. Или, если общее есть, то разве лишь то, о чем говорит замечательная формула, найденная однажды в Варшаве пятидесятилетним поэтом, из очередной заграничной поездки возвращавшимся на родину: «грязь милого отечества, полная будущим», *cette saleté pleine d'avenir de la chère patrie*.

## II

Часто в стихах и чаще еще в письмах встречается у Тютчева эта тема, возвращение домой, и каждый раз чувствуешь: как тягостен возврат, как грустно расставаться с тем, что осталось позади, как трудно дается ему Россия. В 1839 году он пишет родителям из Мюнхена: «Я устал от этого существования вне родины, и время подумать о пристанище в старости, которая уже подходит», а пять лет спустя, из Петербурга, он жалуется им же, что отвык от русской зимы, которой не испытывал девятнадцать лет. И не только от зимы он отвык, но и от осени и весны, от петербургской оттепели, от ранних сентябрьских холодов, от всей русской погоды, — что значило немало для человека, у которого от перемен погоды менялся и весь строй души\*. В письмах к жене с поразительным постоянством повторяются жалобы и восторги по поводу солнца и дождя. В Петербурге, на Островах, лето 52 года прошло недурно, однако погода испортилась в первых числах сентября, и этого было достаточно, пишет он, чтобы «окраска моих мыслей перешла из нежно-серой в решительно-черную». Август 54 года, кроме эпистолярных восторгов, породил и стихотворение «Какое лето, что за лето», а когда 24-го числа сильный ветер положил конец очарованью, Эрнестина Федоровна получила приличное случаю торжественно-грустное поминальное письмо. Славословий зиме Тютчев не слагал, она и вообще редко появляется в его стихах, и чтобы метель, пороша или рифмующие с морозом «девичьи лица ярче роз» его пленяли, что-то не слышно. Любил он только хорошо прогретое лето и теплое начало осени. Июльскими днями 56 года, проведенными в Петергофе, он остался настолько доволен, что назвал их сверхъестественными для тех широт; зато холодный июнь два года спустя заставляет его лишний раз воскликнуть: «Ах, что за страна!» («Ah! quel chien de pays!»): лучшего от России ожидать трудно. Ведь и в тех августовских стихах говорится:

Гляжу тревожными глазами  
 На этот блеск, на этот свет...  
 Не издеваются ль над нами?  
 Откуда нам такой привет?

\* Другой поэт, англичанин, человек строгий к себе и к другим, на- ходил, что «говорить о погоде или здоровье, и особенно жаловаться на них, никчемное дело» (письмо Хопкинса Роберту Бриджесу 7 марта 1884 года)<sup>5</sup>.



то, что на свете есть еще горы, столь утешительные, когда смотришь на них «после долгих трех лет, проведенных среди равнин и болот»; что и говорить: «*ma fibre occidentale a été grandement remuée tout ce temps-ci*» (западный нерв моей души был все это время очень расстроган). И вновь, шесть лет спустя, вернувшись из очередной заграничной поездки, жалуется он на грустную страну, где нечем заменить горы, кроме облаков, и спрашивает себя, как это «великий поэт, создавший Риги и Женевское озеро, мог подписать своим именем подобные плоскости», *de pareilles platitudes*.

«Чего бы я не дал теперь, чтобы была тут предо мною настоящая что ни на есть гора!» Этот стон проходит через всю его жизнь. В те же времена Некрасов ездил за границу и, воротясь, написал (в 57 году) «Тишину»:

Все рожь кругом, как степь живая,  
 Ни замков, ни морей, ни гор...  
 Спасибо, сторона родная,  
 За твой врачующий простор!

Но Тютчева простор не врачевал. Однажды он писал из Берлина, перед тем, как пуститься в обратный путь: «Наконец, наконец, остается сделать последний шаг, и не далее, как сегодня вечером, я окунусь, — не в вечность, как повешенный в Англии, а в бесконечность, как путешественник в России». В тот год (59-й) ему особенно не хотелось ехать домой (хотя совершенно сходные жалобы повторяются и позже, например в 62 году); еще из Веве он писал Эрнестине Федоровне в Париж: «Я разделяю вполне не только твое сожаление покинуть Париж, но и твой ужас при мысли о возвращении. Сегодня мы совершили прогулку в замок Отвиль. <...> Что за воздух, что за освещение, какие виды. И, глядя на это озеро и горы, в светящейся дымке, казалось, грезившие наяву, я вдруг вспомнил, что меньше, чем через шесть недель, я снова буду видеть перед собой Гостиный двор, печально освещенный с четырех часов дня фонарями Невского проспекта, и содрогнулся». В ту осень дорога из Кенигсберга в Петербург внушила Тютчеву еще более грустные стихи, чем те, что были написаны почти за тридцать лет до того («Через Ливонские я проезжал поля»), но основное переживание осталось тем же. И конечно, это не случайное впечатление вылилось в них, а всегдашнее чувство родной страны:

Родной ландшафт... Под дымчатым навесом  
 Огромной тучи снеговой —

Синеет даль — с ее угрюмым лесом,  
Окутанным осенней мглой...

Случай не родит таких стихов, как эти:

Ни звуков здесь, ни красок, ни движенья —  
Жизнь отошла — и покорясь судьбе,  
В каком-то забытье изнеможенья  
Здесь человек лишь снится сам себе.

Тут, конечно, не одна словесная живопись; да и не один «ландшафт» делал тягостным для Тютчева возвращение домой, и не одним зрением, не одними внешними чувствами воспринимал он образ своей России. Русский постоянный двор он однажды назвал «la plus triste des choses dégoutantes» \*, но, конечно, и не отсутствие дорожных или иных удобств, настраивали его на хмурый лад, хоть он и говорит о поэзии комфорта, еще неизвестной России, в том самом сентябрьском письме 53 года, где он прощается в Варшаве с «гнилым Западом, столь опрятным и удобным, pour rentrer dans cette saleté pleine d'avenir de la chère patrie» \*\*. Из других писем и устных высказываний Тютчева явствует, что «saleté» тут можно понимать не только в прямом, но до некоторой степени и в переносном смысле. Через всю жизнь пронес он нерадующее чувство нецивилизованности, неотесанности, а то и прямого варварства России. Летом 1825 года, когда начинающий дипломат впервые вернулся домой после двухлетнего пребывания за границей, Погодин записывает в дневнике: «Остро сравнивал Тютчев наших ученых с дикими, кои бросаются на вещи, выброшенные им кораблекрушением». А также: «Говорил с Тютчевым об иностранной литературе, о политике, об образе жизни тамошнем. Мечет словами, хоть и видно, что там не слишком занимался делом. Он пахнет Двором. Отпустил мне много острот. «В России канцелярия и казармы. Все движется около кнута и чина» <sup>6</sup>. Из этих слов не следует делать поспешных выводов о политически «левых» настроениях, позже, будто бы, сменившихся другими. Что самовластье, по мнению Тютчева, может развращать, видно из его стихов, посвященных декабристам <sup>7</sup>; однако он и позже проводит различие между самодержавием и абсолютизмом (т. е. именно самовластьем), не переставая в то же время быть верным слугой российского самодержца и вообще — «пахнуть

\* самая печальная из всех неприятных вещей (фр.). — *Ред.*

\*\* чтобы вернуться в многообещающую мерзость дорогой отчизны (фр.). — *Ред.*

Двором». Критика его, от которой он не отказывался всю жизнь, шла почти исключительно по двум путям: либо касалась внешней политики (тут он бывал крайне резок, например, в осуждении всей внешнеполитической системы николаевского царствования), либо вдохновлялась уже не столько политическими идеями, сколько прямыми интересами культуры, а в этой области и стиралась всего легче грань между пороками власти и свойствами русской жизни вообще.

«Кнут и чин» были и остались ненавистны Тютчеву, прежде всего тем, что с их помощью происходило подавление духовной свободы, то, что, в одном из горьких писем, вызванных крымской войной, он назвал «раздавливанием разума», «*écrasement de l'intelligence*». В том письме, написанном в особенно мрачную минуту, он говорит, что подавление это систематически проводилось правительством за последние годы и привело к результатам всеобъемлющим: «Все подверглось подавлению, все кретинизировалось». Последнее выражение характерно: многое в России казалось Тютчеву именно глупым, то невинно-глупым, а то и преступно-глупым, и тогда ведущим к гибели. В те же критические годы он пишет жене, что управление делами «принадлежит мысли, которая сама себя не понимает»; «чувство такое, как будто находишься внутри кареты, катящейся вниз по все более крутому склону, и вдруг замечаешь, что на козлах нет кучера». С порабощением мысли он боролся по мере сил при Александре II, заседая в Комитете иностранной цензуры, но конечно, и многое другое, темное, видел он кругом, что казалось ему неотъемлемым и непреодолимым. Любопытно, что в письме, появившемся в 1844 году в аугсбургской газете, он не оспаривает по существу того, что говорят за границей о «несовершенствах нашего общественного строя, пороках нашей администрации, положении наших низших классов», а лишь ссылается на пример ирландских крестьян и манчестерских фабричных рабочих, которым живется еще хуже, чем даже русским, сосланным в Сибирь. Международная роль России, в настоящем, и особенно в будущем, перевешивает в его глазах всю неурядицу ее внутреннего строя; перед иностранцем он ее защищает, не отделяя грехов власти от грехов страны; но в собственном своем сознании, продолжая их видеть слитно, он все же их видит, эти общие, русские грехи, и от них во всю жизнь не перестает его коробить.

Коробит его от многого в нравах, в манерах, во всем пошибе русского знатного и образованного общества. По поводу роскошного приема у Кушелевых<sup>8</sup> он пишет однажды: «Есть некий

хамский стиль, — *style canaille*, — очень эффектный на золотом фоне». От впечатлений такого рода, отнюдь не единичных, он ищет утешения в мысли о некоторой первобытности русского общества и, значит, девственности, невинности самых его пороков. В <18>53 году в Петербург приезжала Рашель<sup>9</sup>, и Тютчев не удивляется, что ей понравилось в Петербурге. «Я понимаю, — пишет он, — что для натуры, все испробовавшей, все исчерпавшей, была отдохновительна эта простодушная среда, столь мало тронутая разложением, столь несложная в своей испорченности. Это входит в ее курс лечения ослиным молоком». Но в то же время, по сравнению с безукоризненно воспитанным западным человеком, это же общество кажется ему нестерпимо неотесанным и простоватым. На празднествах коронации, в Москве, повстречал он у Бахметьевых молодого лорда Актона<sup>10</sup>, и встреча, как он говорит, навела на него глубокую меланхолию, «настолько я был потрясен контрастом между естественным аристократизмом этого молодого человека и столь же естественной вульгарностью всего, что его окружало». Тот, кто знает, что значила для Тютчева «светская жизнь», т. е. хорошо отстоявшиеся формы цивилизованного общения между людьми, поймет, почему вечер у Бахметьевых, да еще мюнхенские воспоминания, всплывшие на нем, привели к очередному припадку той болезни, которую так часто вызывали у него люди, природа, погода его страны: тоски по чужбине, или как он сам выразился в этом случае «*nostalgie en sens contraire*»\*.

### III

Тоска по чужбине — таков итог отношения Тютчева к России, открывающегося под наружным пластом политических убеждений и надежд и отвечающего непосредственным его чувствам, а не каким-нибудь отвлеченным построениям. После его смерти кн. И. С. Гагарин вспоминал его слова: «*Je n'ai pas le Heimweh, mais le Herausweh*»\*\*. Эти настроения не были случайны, они возвращались к нему постоянно, были спутниками всей второй половины его жизни, после возвращения на родину. Когда семья за границей, основной мотив его писем — «зачем я не с вами», но когда он сам за границей, а семья в Овстуге или в Петербурге, он соболезнует Эрнестине Федоровне, но

\* ностальгия наоборот (*фр.*). — *Ред.*

\*\* У меня нет ни тоски по родине, ни тоски по загранице (*фр., нем.*). — *Ред.*

не торопится возвращаться к ней. В 58 году он за границу не уехал и осенью пишет об А. О. Смирновой, что она «еще раз отложила свой возврат в милое отечество и что он, разумеется, далек от того, чтобы ее за это порицать». Несколько позже, в ту осень, он возвращается к той же теме: «Возвращающиеся из заграницы столь же редки и столь же нереальны, как выходцы с того света, и право, трудно упрекать тех, что не возвращаются, настолько хотелось бы быть в их числе». В следующем году он ездил в Германию и Швейцарию, в 60-м тоже, в 61-м оставался в России, в 62-м «Herausweh» было особенно сильным, как видно по одному красноречивому письму, и он вырвался вновь в Висбаден и к берегам Женевского озера... Так проходила жизнь. Издали тревожила и манила старая Европа, ее духовный уют, ее согретая историей природа, поросшие мохом камни и виноградники на солнечном склоне гор, а в «милом отечестве» было бесприютно и не по себе, и самую страшную душевную боль не подумал он развеять в русских степях, а повез утопить в Средиземном море:

Зыбь ты великая, зыбь ты морская,  
 Чей это праздник так празднуешь ты?  
 Волны несутся, гремя и сверкая,  
 Чуткие звезды глядят с высоты.  
 В этом волнении, в этом сиянии,  
 Весь, как во сне, я потерян стою —  
 О как охотно бы в их обаянии  
 Всю потопил бы я душу свою...

Что ж, надо ли согласиться с Тургеневым, писавшим Фету из Буживаля 21 августа 1873 года: «Глубоко жалею о Тютчеве; он был славянофил, но не в своих стихах, а те стихи, в которых он был им, те-то и скверны. Самая сущная его суть — *le fin du fin* \* — это западная, сродни Гёте»? Нет, согласиться нельзя. Западническое мнение это тоже упрощает дело, хоть и не столь грубо, как упрощало бы мнение противоположное, т. е. такое, по которому славянофильством Тютчева исчерпывалось бы его отношение к России. Совершенно верно, что в политических стихах дана лишь внешняя пелена этого отношения и что в них не высказалась «самая сущная суть» поэта. Однако и тяга на Запад, быть может, не самое глубокое, что в нем было, и уж во всяком случае человеческая и стихотворная суть его стихов, хотя бы только что приведенных стихов, написанных в Ницце, не французская, не немецкая, а чисто русская. Если хваля зву-

\* в конце концов (фр.). — *Ред.*

ковую изобразительность стихов Вяземского о Венеции<sup>11</sup>, Тютчев сказал: «Что за язык этот русский язык!», то разве каждый не говорил себе того же, читая тютчевские стихи, только не политические, а другие? Конечно, и Даль, и Гильфердинг выучились писать по-русски<sup>12</sup>, но тютчевская степень слияния со стихией русского языка могла быть дана только глубоко русскому человеку, русскому, быть может, не в привычках и вкусах, не в устройстве ума, но в самой сокровенной сердцевине своей личности. Тютчев был предан российской империи, но душою дружил с Мюнхеном и «зеркалом Лемана»; однако сильней этой преданности и этой дружбы была та незримая Россия, что жила не вовне, а в нем самом. Два раза был он женат на немках, но «последняя любовь» его — русская любовь<sup>13</sup>. Французские письма его написаны прекрасно, с очень немногими отступлениями от правил чужого языка и в полном соответствии с тем, что хочется назвать не его духом, а его умом; но французские его стихи все же оказываются чересчур русскими по своему ритму, звуку, по самому чувству, которое хочет выразиться в них. Языковед и историк литературы Фосслер<sup>14</sup> рассказал в одной из своих работ о немке, прожившей жизнь вдалеке от родины и разучившейся говорить по-немецки, вплоть до последней мучительной болезни, когда, для нее самой неожиданно, язык ее детства стал языком ее предсмертных жалоб и молитв. Так и Тютчев: по-французски он размышляет и острит, по-французски ведет письменную и устную беседу с друзьями, но только в русских стихах изливает душу, потому что душа эта — русская душа.

О том, что не так просто, как думал Тургенев, обстояло дело с тютчевским «le fin du fin» говорит уже то смущение, которое испытывает он, когда вспоминает о своей «fibre occidentale»\*, о неспособности чувствовать себя в России, как в своей естественной среде и быть в самом деле, «как дома», когда он дома. Извиняет он себя тем, что не в России провел лучшие годы, что не с ней связаны первые радости, печали и утраты; но извинение не утешенье, и рана остается незалеченной всю жизнь. В августе 1846 года, на пути в Овстуг, он писал жене из Москвы: «Я еще не знаю, какое впечатление произведет на меня место моего рожденья, покинутое 28 лет тому назад, и по котором я так мало тосковал. Боюсь, что из меланхолических чувств я найду там одну скуку. Ведь ни одно из моих живых воспоминаний не восходит к тому времени, когда я там был

\* западной жилке (фр.). — *Ред.*

последний раз. Моя жизнь началась позже, и все, что предшествовало ее началу, мне столь же чуждо, как канун моего рождения». Встреча с родными местами и в самом деле была безрадостной, — как, по-видимому, и встреча с матерью в Москве, за три года до того. В сентябре Эрнестина Федоровна получила длинное, грустное, несколько растерянное письмо и при нем стихи, кончавшиеся так:

Ах нет! Не здесь, не этот край безлюдный  
 Был для души моей родимым краем,  
 Не здесь расцвел, не здесь был величаем  
 Великий праздник молодости чудной!  
 Ах, и не в эту землю я сложил  
 То, чем я жил и чем я дорожил!

Сказанное об Овстуге могло быть сказано и о России. Невеселое письмо, невеселые стихи в сущности относятся и к ней. Тут один из источников той грусти, что, начиная с этого времени, постоянно сквозит в насмешливом (по отношению к самому себе) тоне его писем и заглушается (быть может, по инстинктивной потребности его натуры) славянофильской риторикой в патриотических стихах. Немало должен был он думать о своей особой судьбе, чтобы однажды — в письме из Веймара от 20 октября 1859 года — найти для нее такую острую формулу: «Что бы ни говорили, но единство места — одно из трех единств старой, подвергавшейся стольким нападкам, классической драмы — более необходимо, чем думают, для того, чтобы пьеса нас могла интересовать, по крайней мере в действительной жизни».

Поэзия строится из противоречий; личность может от них погибнуть, но и на высшую ступень своего единства она не взойдет, если их нет. Тютчев жил в мучительной раздвоенности, но в глубине ее он был един, а мукой и борьбой питался его гений. На поверхности был образ Российской державы, с ее победами, знаменами и врагами, а поглубже — «la saleté pleine d'avenir de la chère patrie», но совсем глубоко было другое, другая Россия, хоть лишь изредка выступали на поверхность ее не умом, а чутьем угаданные черты. Однажды, после осенней прогулки на Островах (в 68 году) он писал жене: «На меня навел меланхолию вид бедных деревьев с опадающей листвой. Они были похожи на чахоточных». И еще за пятнадцать лет до того петербургская осень внушила ему, в письме, где особо подчеркнута его тоска по горным пейзажам Запада, такую фразу: «За отсутствием альпийских великолепий, мы имели здесь, благо-

даря нескольким ясным осенним дням, чудесную игру световых бликов на водах Невы, таких прозрачных и таких покорных, и на купах пестрой листвы, которая скоро исчезнет». Эти бедные, чахоточные деревья, эти покорные воды (французское выражение, *les eaux résignées*, непереводаемо, оно свидетельствует о несравненной прозорливости) как бы содержат в зародыше тот образ России, что был запечатлен 13 августа 1855 года в знаменитом стихотворении, где и в самом деле все угадано и понято, что «тайно светит» в ее убожестве, скудости, в ее смиренной наготе. Образ этот сроднился с тюгчевской душой как-то исподволь, должно быть, и для него самого незаметно, не отменяя других, более скептических или более победных, более тревожных или более праздничных. Присутствие его чувствуется уже в стихах, внушенных остановкой в Ковно за два года до того (в том же году, когда было написано письмо о бедных и чахоточных деревьях). Стихи эти лишь на поверхности, голым своим сюжетом — победой России над наполеоновскими войсками — напоминают бравурно-патриотические его произведения (которые, впрочем, продолжал он писать и после того) по существу же тот Другой, что стоит на страже России, отнюдь не символ, хотя бы и религиозный, материального ее могущества, а уже тот небесный Царь, что два года спустя явился поэту «в рабском виде» и удрученный тяжестью креста.

О той России, что открылась ему в наибольшей глубине его духовного опыта, он сказал всего меньше, потому что о самом сокровенном вообще говорить не любил. Передают, что он каждый раз болезненно сжимался, когда речь заходила о его стихах, так что под конец с ним вообще никто не решался говорить на эту тему. Однажды (по Аксакову) «в осенний дождливый вечер, возвратясь домой на извозчичьих дрожках, весь промокший он сказал встретившей его дочери: «*j'ai fait quelques rimes*» \*; то были «Слезы людские, о слезы людские»... И подобно тому как с той же крайней скромностью и почти извинением говорил он всегда о своих стихах, так и Россию предпочитал публично превозносить и частным образом поругивать, а самое тайное, что о ней знал, во всей полноте только раз и как-то само собой у него сказалось, — больше он к этому не возвращался, даже и в стихах продолжал молчать. Впрочем, говорить, рассказывать, расписывать было и не нужно: достаточно было оставаться тем поэтом, каким он всегда был. Стихи и тайное

\* Я сложил несколько стихов (фр.). — *Ред.*

---

ведение России несказанным образом были в нем одно. И в сущности все, что он думал о ней, вся гордость, и тревога, и печаль, все это было ничто рядом с тем, как она дышала в дыхании его стиха, как жила и живет до сих пор в жизни его слова.

1939

